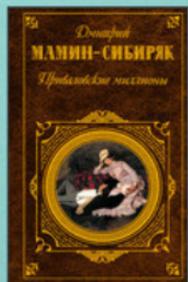


Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

# Зимовье на Студеной



*Часть сборника  
Приваловские миллионы  
(сборник)*



# Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Зимовье на Студеной

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172340](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172340)*

*Приваловские миллионы: Эксмо; Москва; 2006  
ISBN 5-699-17741-8*

## **Аннотация**

«Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно – он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами...»

# Содержание

I	4
II	15
III	25

# Дмитрий Мамин-Сибиряк

## Зимовье на Студеной

### I

Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно – он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь, – это просился Музгарко, небольшая, пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

– Я вот тебе задам, Музгарко!.. – заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. – Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

– Ах, шток тебя волки съели!.. – обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял – отчего у него болела спина и отчего завывала собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно – и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменный мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

– Ну што же, значит, конец!.. – ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. – Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

– Ну шабаш, ну што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

– Не любишь зиму, а? – разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. – Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки.

Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик – сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпению бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизнул.

– Сейчас, не торопись, – ответил ему старик, приподвигая к огню чугунный котелок с водой. – Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно

залаяла и бросилась в дверь.

– То-то вот у меня поясница третий день болит, – объяснил старик собаке на ходу. – Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось, – лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку – за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь выросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

– Чему обрадовался спозаранку? – окликнул его старик. – Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик

стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

– Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечева с поводками из тонких шнурков и волосяной леси. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

– Любишь стерлядку? – дразнил его старик, показывая рыбу. – А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал

в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

– Скоро обоз придет, – объяснил старик собаке. – Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом – бревно подгнило, в третьем – угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

– Как-нибудь, может, перебыюсь зиму, – думал старик вслух, постукивая топором в стену. – А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то – из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий

сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах какой бывает ветер, даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избышки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет – некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

– А ведь стар ты стал, Музгарко, – говорил старик, глядя собаку по спине. – Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной, – смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевавшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем, – вся семья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще

мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя – что попадет. Из дому уходили недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья – два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву. Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом; но на этот раз сплеховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь надел на него. Рассвирепевший зверь

обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода; остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками, – одним словом, пришла беда неминуемая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

– Бывал на волоке с Колпы на Печору? – спрашивали его промышленники. – Там на реке Студеной зимовье, – так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты – поблизости от зимовья промышлять можешь.

– Далеконько, ваше степенство... – замялся Елеска. – Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

– Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

## II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас – порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

– Ну теперь мы с тобой на припас добыли, – объяс-

нял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. – А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обрабатываем... Главное – соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была – не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, – какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запастись ей приходилось бы пудов по двадцати, – где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в Петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро – два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина – как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

– Скоро, Музгарко, харч нам придет... Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу.

Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек – хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

– Эй, дедушка, жив ли ты?.. Прймай гостей... Давно не видались. Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слышал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

– Музгарко, да ты в уме ли! – удивлялся старик. – Проспал обоз... Ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

– Эх, стар стал: нюх потерял, – заметил с грустью старик. – И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное,

чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, – шла дорогая поморская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованные, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

– И не страшно тебе в лесу, дедушка?

– А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело. В лесу выросли.

– Да как же не бояться: один в лесу...

– А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед рассказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

– Откуда же ты такую добыл, дедушка?

– А бог мне ее послал... Не ладно это про пса говорить, а только оно похоже. Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку – все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, чтобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждатель. Уви-

дал меня, обрадовался, а сам едва уж языком воро-  
чает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и бла-  
гословил этим песиком... При мне и помер, сердяга,  
а я его закопал в снегу, заволок хворостом да брев-  
ном придавил сверху, чтобы волки не съели. А Муз-  
гарко, значит, мне достался... Это по речке я его и на-  
звал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну я и  
собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет,  
так после него хоть метлой подметай – ничего не най-  
дешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о  
нем говорят?.. Все понимает...

– Зачем он под лавкой-то лежит?

– А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар  
стал... Два раза меня от медведя ухранял: медведь-то  
на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной  
ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один  
меня починил, ну я уж из ружья норовлю его свалить.  
Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

– Ну а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

– Привышное дело... Вот только праздники когда,  
так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у ме-  
ня волки обедню завывают. Ну я тогда свечку затеплю  
перед образом и сам службу пою... Со слезами тоже  
молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему  
надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и

все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

– У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймает. Любезная тварь – перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволение... Человеку так не соорудить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной

все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произвольенье, свой предел... Одного только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

– В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

– Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

– Я тебе часы привез, дедушка, – весело говорил он, подавая мешок с петухом.

– Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

– Есть такой грех, дедушка, – весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. – Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворожили... Ну оставайся с богом.

– Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете. Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький – ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

– Што, завидно тебе, старому? – дразнит Елеска собаку. – Только твоего ремесла, што лаять... А вот ты по-петушиному спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. По-нурий такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

– Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатила беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

– Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..



Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма... Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над большой собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

«Кормилец ты мой... – плачет старик и целует верного друга. – Родной ты мой... ну где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почувял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не осталось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная, голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до Крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учюяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун – самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учюял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прынул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке – Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

– Музгарко, Музгарко... – повторял несчастный ста-

рик, целуя мертвого друга. – Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок – птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает.

– Эх, Музгарко! – повторял Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

– Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынъ проберусь! – решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Ото-

шел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилище и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

– Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, усталал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

«Волки...» – мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе – это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

– Ты здесь, дедушка? – спрашивает вогул, а сам

смеется. – Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.